



Наталья Николаевна Моловцева родилась в селе Константиновка Ромодановского района Мордовской АССР. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работала в газетах Магаданской, Сахалинской, Воронежской областей, Якутской АССР. Публиковалась в газете «Литературная Россия», журналах «Молодая гвардия», «Подъём», «Странник», «Ковчег» и сборниках прозы. Автор книг прозы «Меня окликни», «Тонкий серпик луны», «Берега вечности». Лауреат премии «Кольцовский край». Член Союза писателей России. Живет в городе Новохопёрске Воронежской области.

Наталья Моловцева

ДНИ ЗОЛОТЫХ ОДУВАНЧИКОВ

Рассказы

Она приехала сюда в свою самую любимую пору — время весны, когда она, весна, стала необратимой, и трава покрыла землю зеленым ковром, и по этому коврику были щедро разбросаны желтые огоньки, свет которых грел и ласкал душу. Он про это время года так и говорил: дни золотых одуванчиков.

Приехала — и остановилась на крыльце, не решаясь открыть дверь. Разве это возможно: она откроет, а ее никто не встречает. И не слышно в доме его голоса, и дверная ручка не хранит тепла его руки...

Надо заставить себя толкнуть дверь и ступить в коридорчик...

Куда она пойдет прежде всего? Конечно, на кухню, чтобы помыть после дороги руки и выпить чаю. Нет, сначала она обойдет дом, нигде особо не останавливаясь, привыкая к тому, что его не будет ни в гостиной, ни в спальне, ни в рабочем кабинете.

Одна...

Собственно, вот уже полгода, как она одна. Пора бы привыкнуть. В городе у нее это начинало, кажется, получаться (телефонные звонки, визиты, пусть и не частые, друзей, походы в редакции газет и журналов...) А здесь? Как будет здесь? Пока у нее

есть одно важное преимущество перед грядущими переменами — все, что вокруг, еще принадлежит ей. Она может поставить на плиту чайник и заварить чай, достать из посудного шкафчика любимую чашку и вдоволь напиться чаю. И то, что сейчас она одна, — просто замечательно: никто ее не видит, никто не слышит, никому ничего не надо объяснять.

Ну, разве что себе самой...

И первое, что требует объяснения, — надо ли было все это затевать? Может быть, на самом деле было бы лучше, если бы она и дальше оставалась полновластной и единственной хозяйкой их загородного дома и пространства вокруг него — поляны с золотыми одуванчиками, сада и прилегающего к забору кусочка дикого леса. И еще тишины. В их доме никогда не было шумно — детей, а следовательно, и внуков у них не было; гости же, время от времени навещающие их, тихие беседы предпочитали шумным застольям. Но главной причиной тишины было другое — то, что большую часть времени хозяин проводил за письменным столом.

А когда все это назовут музеем?..

Они построили свой дом между небом и землей. Всякий другой человек вряд ли бы решился на это — размещать жилище на склоне холма, который — это известно всем и каждому — будут подмывать и весенние воды, и осенние дожди. Но он так захотел. Мало того, дом не просто расположен на склоне: с той его стороны, что была обращена к саду, а затем к лугу и речке, они пристроили еще и веранду на сваях, всеми своими окнами распахнутую на три части света. И когда люди выходили на нее, у них создавалось впечатление, будто они парят в воздухе: внизу — пустота, а далеко вверху — небо, с солнышком — если день — или с бесчисленными мириадами звезд — если ночь.

Ему мало было того, что хотел соединить небо и землю в своем творчестве — он хотел соединить их и в жизни обыкновенной, ежедневной, бытовой. Утром он вставал раньше нее и сразу же шел как раз на веранду, чтобы оглядеть пространство вокруг себя и налюбоваться красотой и свежестью весеннего или летнего занимающегося дня. Потом пил чай и шел в сад. Она не сомневается в том, что с деревьями, кустами, цветами он вел какой-то особый, понятный только им разговор. Потом направлялся в лес — здесь у него было любимое дерево, а под ним — пенек и скамейка. Собственно, это и был его любимый рабочий кабинет. Здесь, на скамейке, он и записывал то, что продиктует... кто?

Об этом они говорили, но не очень часто. Потому что оба понимали: есть вещи, о которых много говорить нельзя, гораздо разумнее доверять их тишине и молчанию.

Зато очень часто у них заходил разговор о необходимости сохранения «своего ребенка» в душе. Автор многочисленных повестей и рассказов не верил в словесные системы, построенные даже умнейшими из философов; он считал, что гораздо большее впечатление, а следовательно, и влияние на человека, взявшего в руки книжку, производит «первый взгляд», так называемое «детское восприятие». Честно сказать, она и сама, задаваясь вопросом, кому дается истина, отвечает просто: тому, чья душа открыта для нее, как двери в гостеприимном доме. Умудренные жизнью взрослые предпочитают их закрывать, на ночь — особенно плотно, а те, что еще не напуган или просто наивен...

Но разве не сказано: будьте как дети?..

Вот и она стоит сейчас там, откуда еще недавно начинал свой день хозяин дома. И ловит себя на невозможном: а вдруг да откроется дверь, он выйдет из спальни и станет рядом. Удивится: ты опередила меня? Молодец!

Да какой она молодец... обычная женщина, которой все еще очень сложно быть одной.

Она погладила гладкое дерево подоконника и прошла в его кабинет: здесь, на книжной полке, стояли и его книжки. Ей захотелось увидеть запечатленными на бумаге слова, которые она, конечно же, знала наизусть. Вот они: «Я никого учить не хочу, я поведаю вам свою боль и радость, а вы делайте с ними, что хотите...»

Боль и радость — это были составляющие его жизни. А вся его жизнь была — качели: вверх-вниз... Вверх — когда строки возникали тем самым образом, о котором они предпочитали не говорить, вниз — когда он начал сомневаться в том, что строки эти истинные, нужные миру и людям. Однажды это «вниз» совпало с появлением критической статьи по поводу его романа. Впрочем, почему однажды? Критиковали его охотно и часто. О, писателей окружает так много людей, которые знают, как надо писать! Сами критикующие не написали ни строчки художественного текста, но это совсем не мешает им чувствовать себя носителями истины, знатоками тайн и способов писательского ремесла. Самое печальное то, что он принимал эти советы всерьез, тратил время, нервы, здоровье на их осмысление. Вот и та статья, тот роман... Он переписывал его пять раз; каждому новому рецензенту казалось, что он лучше других, а главное — лучше самого автора понимает, на каких идейных и мировоззренческих позициях должен он, автор, стоять. И ему следует быть благодарным за то, что его повернули в нужную сторону, направили на верную дорогу. Когда один из журналов после очередной переработки романа все-таки отказался его печатать, она обнаружила в его дневнике отчаянную фразу: «Это меня срезало до чувства смертельной тоски...»

Господи, да какое им дело до чувства чьей-то тоски, пусть даже смертельной... Тем более, если автор запрятал ее ото всех на свете в свой дневник. Она бы тоже о ней, возможно, не узнала, но — ей-то как раз и были доверены дневники, поскольку она получила приглашение в его дом как помощница для литературной работы. Кипы рукописей, исчерканные правкой, — их надо было переписывать, сверять, создавать машинописный вариант. Пока она читала его книги, ее не покидало ощущение, что их автор не говорит чего-то главного, окончательного. Она объясняла себе это так: но разве может творческий человек сказать что-то окончательное, если в следующую минуту, возможно, будет чувствовать и ощущать этот постоянно меняющийся мир совсем по-другому? И только когда в ее руки попали его дневники...

Читая их, она однажды не удержалась от замечания: «А вы, оказывается, вовсе не такой глупый, как я думала». Сказала — и тут же испугалась: заявить такое автору многих книг!.. Да, одни критики проходят по ним катком. Зато другие утверждают, что ему, автору, просто нет равных в изображении природы, что он обогнал свое время, заговорив о ее спасении от... человека. А главное — сами читатели: от них в его адрес приходило столько восторженных писем, что, конечно же, у нее были все основания тут же пожалеть о своих произвольно высказанных словах. Он же не только не обиделся — он обрадовался, сказав ей, что как же это замечательно, что она будет ему не просто помощницей, но — сомышлен-

нице. Смышленицей — потому что они, оказывается, часто думали об одном и том же и, что самое поразительное, совпадали в оценке того, о чем размышляли...

А потом она станет ему и женой. Разве могла она оставить его после того, как почувствовала необъятность работы, на которую он себя обрек? Да, этот мотив был на первых порах в их отношениях доминирующим, а потом, после того, как произошел обмен сокровенными тайнами души... тогда пришел черед чувства, которое люди привыкли называть любовью. Ей было все равно, как это называется, ей было важно чувствовать свою нужность и даже необходимость ему и его... нет, не благодарности, а какое-то абсолютно полное, радостное приятие всего ее существа. Любая женщина об этом может только мечтать. Отсюда и его необидчивость, его доверие к ней. Она ведь еще не раз позволяла себе резкие высказывания в его адрес. Ее раздражала, например, его чрезмерная зависимость от чужого мнения. И она прямо говорила ему об этом. Чем все кончалось? Наступал момент, когда он начинал понимать, что боится «излукать» — стараясь вместить свою душу «в рамки, поставленные со стороны».

После его кончины она долго колебалась между двумя решениями: публиковать тот злополучный, нет — счастливый! — роман в не однажды переделанном или первоначальном варианте. Конец сомнениям положила обнаруженная в тех же дневниках запись: «Свидетельством моего художества останется непереработанный экземпляр».

А сколько жизни было потрачено на эту переработку! Зря потрачено... Но ведь он, кажется, свою жизнь так и понимал: истратить всего себя ради других. Не об этом ли и другая фраза: «...все человеческое творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и найти или возродиться в чем-то другом». Максимализм, конечно, но... это было его существо и его сущность, которые она тоже приняла и с которыми — ничего другого не оставалось — ей пришлось смириться.

Она опять и опять обходила дом. Вот стол в гостиной, где они провели столько чудесных вечеров (особенно памяты те из них, когда у них гостил известный физик, с которым они говорили ни больше ни меньше как об устройстве мира), — за этим столом она еще может посидеть в благословенном уединении. На настенной полочке в спальне тоскует по хозяину фотоаппарат «Зенит» — увлекшись фотографией, он забросил даже много лет преданно служившее ему старое ружье: его любимым занятием в лесу или поле стала охота за красивым кадром. В буфете стоит его любимая чашка — старенькая, с потертыми краями и рисунком... Все это вещи, к которым столько лет прикасались его и ее руки.

И вдруг их возьмет в свои руки кто-то другой... Будут рассматривать чужие глаза... Что смогут увидеть и ощутить они? Только форму, не более. Нет, среди посетителей музея найдутся, конечно, и те, кто читал его книги и даже внимательно изучал его творчество, но... сумеет ли он, книгоочей, угадать, о чем болела душа, и чем именно хотел поделиться с ним автор, если даже самые из сочувствующих ему критиков числят его по ведомству писателя — певца природы. Что есть, то есть — такого благоговейного отношения ко всему, что растет, цветет, благоухает и потом умирает покорно встретишь не часто. Но разве только об этом он писал?

Особенно в дневниках. Когда она стала читать их «прицельно» к публикации, то особенно явственно поняла, что не только земные реалии занимали их автора, не только природа наполняла смыслом и содержи-

ем его жизнь. Оказалось, например, что он постоянно тосковал по теплу человеческого общения. Читатель-друг — это тоже была боль и радость его жизни. В его тетрадях есть запись о том, как встретились два человека. «Вот наговорятся-то! И я так думаю иногда о себе: и мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца...» Кажется, она догадывается, о чем он хотел бы высказаться «до конца»: о том, как из тьмы и хаоса бытия возникает нечто совсем небывалое (его любимое слово!) — замысел новой художественной вещи. Разве об этом расскажешь, кому попало? Нет, именно ему — читателю-другу, тому, кто готов тебя понять, и тебя принять, и тебе поверить.

Но разве таким другом не была для него она? Была, конечно. Только, наверное, мир души художника так безграничен, что даже после самых долгих и сокровенных бесед у него остается что-то еще, также требующее выражения. Это «что-то» она продолжает открывать даже сейчас, после его ухода. Возможно, этим «чем-то» он просто не успел с ней поделиться, но, к счастью, успел записать. В тех же дневниках она обнаружила строки: «...можно ли быть счастливым, когда все близкие люди умерли и знаешь, что сам дышишь на ладан, а главное, нечто такое познал, перед чем все искусство — только игра...» При первом чтении эти строки ее просто сразили: неужели их написал он, считающий искусство главным делом жизни?! Что же такое открылось ему, если чуть позже он напишет еще более поразительные слова: «Люди как будто уходят куда-то, и так явно видишь, что там, куда они уходят, настоящая жизнь, а это был какой-то необходимый для всех обман». Чтобы хоть чуть отгородиться от этой мысли и не додумывать ее до конца, она принялась размышлять о том, как удачно воспользовался он и в этот раз принципом «детского восприятия». Философ, захоти сказать о том же самом, разразился бы множеством научных, а чаще наукообразных, терминов и словесных оборотов, а его мысль — как девчонка, еще не умеющая украсить себя с помощью всяческих ухищрений: румян, помады, одежд. Но ты эту девчонку-простушку воспринимаешь как самую близкую и дорогую родню, и отводишь ей в сердце самое заветное место.

Так же просто он скажет, продолжая начатую мысль через время, уже совсем близко к концу: «Мне кажется, что всю природу можно найти в душе человека со всеми лучами, цветами, волками, голубями и крокодилами. Но всего человека вместить в природу невозможно; и не закопаешь всего, и не сожжешь огнем, и не утопишь в воде».

Ее вдруг пронзило: Господи, но разве не о том же: «Нет, весь я не умру»?..

Она опять вышла на веранду — луг цвел и горел золотыми огнями. «А разве вся наша жизнь с тобой не была днями золотых одуванчиков?» — спросила себя и его. И дальше подумала: так зачем же ей сомневаться? Какие еще препятствия преодолевать — не в инстанциях, где все уже согласовано и заверено нужными подписями, — а в самой себе?

Зачем сомневаться, когда все так понятно?..

КОРОЛЕВА В СВОЕМ КОРОЛЕВСТВЕ

«А вот возьму и приглашу ее в ресторан...»

Эта мысль счастливо пришла ему в голову, когда он перебрал, а потом и забраковал все другие варианты. Попасться на глаза в коридорах «Мосфильма»? А что можно сказать за время стихийного общения,

которое будет длиться секунды и никак не больше, потому что с какой стати ей, небожительнице, разводить беседы с незнакомым молодым человеком? Попытаться проникнуть в ближний круг и таким образом оказаться в числе гостей, которых они с мужем не часто (не тот возраст!), но все же приглашают к себе? Тоже не получится. Потому что слишком узок круг... и давно все друг друга знают... а главное — все умны и проницательны: сразу просекут, зачем он в этот круг стремится проникнуть.

И вдруг возник в измученной составлением всяческих проектов голове этот вариант. А что? Пожалуй, его возраст тут будет не препятствием, а как раз положительным моментом — любой женщине приятно внимание молодого человека. Даже небожительнице. И — кто знает, чем может кончиться их общение? Совсем не исключено, что она...

Он устыдился собственного намерения раньше, чем додумал его до конца... Но что же, что делать ему — провинциалу, решившему во что бы то ни стало покорить столицу? Да, ему много уже удалось: поступить в театральное училище и окончить его, сыграть пару ролей на сцене и в кино. Но все на этом может и закончиться! И остановиться! Разве для этого он уезжал из своего маленького городишка? Кроме того, он чувствует, что есть, живет, не дает ему покоя то, что люди привычно называют даром, талантом, а то и Божьей искрой. Да, есть! Но недаром ведь существует пословица: на Бога надейся, да сам не плошай. И потому сейчас, на данном этапе жизни его задача — придумать и осуществить нечто такое, что сразу выделит его из общего ряда и сделает то, что известно ему о самом себе, заметным и для других.

— Вы... приглашаете меня в ресторан? Но почему? Вы меня знаете? Такого голоса и такой манеры общения нет больше ни у одной актрисы мира. Она говорит неторопливо (а куда спешить, когда все мыслимые высоты уже покорены?), ублажая слух собеседника совершенно особенной, ласковой, едва ли не родственной интонацией.

— Господи, да кто же вас не знает? — не замедлил с ответом он. — Вас знают в стране и за ее пределами, а уж те, кто занимается с вами одним ремеслом...

Сказал — и осекся. Это он — ремеслом. Он — ремесленник. А она... Она, кажется, не заметила его промашку или не придавала ей значения. Потому что тем же ласковым голосом продолжила:

— Понятно. Значит, вы — актер. Где изволите служить?

Он назвал театр и несказанно обрадовался тому, что она не задала ему следующего вопроса: какие он играет роли. Нет — вместо этого она широко — и это тоже умеет только она — улыбнулась, обдала его светом — непотухающим, нетускнеющим! — своих огромных глаз и озорно произнесла:

— А — давайте! Давайте пойдем в ресторан. В конце концов, старикам полезно общаться с молодежью.

Он изобразил крайнюю степень возмущения: старикам? Это вы о ком? Лично он беседует сейчас с женщиной зрелого возраста, но никак не...

— Верю-верю, — поспешила она успокоить его. И опять улыбнулась:

— Так назначайте время. И место.

Он назначил.

И вот они сидят в просторном и светлом зале; от белой скатерти тоже идет свечение, и официант наливает в их бокалы искрящийся светлый напиток. Она (умница!) благодарит, отсылает его («молодой человек и сам прекрасно справится с этой ролью») и произносит непереносимое:

— За что выпьем?

Голос ее на этот раз звучит не просто ласково — обворожительно, но он, задумавший и осуществивший немислимый проект, все еще не верит в его реальность и потому не может подобрать подходящих слов. И она опять приходит ему на помощь:

— Мы выпьем за ваш талант. И за ваши будущие — несомненные — успехи.

Она прикасается губами к краешку бокала, и смотрит поверх него своими дна не имеющими глазами, и улыбается тоже прямо в глаза мальчику, осмелившемуся пригласить ее в ресторан. Он, мальчик, высок, красив, обаятелен, но проходящие мимо люди смотрят только на нее. Он понимает их. Но и ему есть чем гордиться: это не вы, это я сижу с *ней* за одним столиком...

— Так о чем вы хотели поговорить со мной, мой ангел? Ведь вы же для этого пригласили меня.

Вот! Она сама задает ему вопрос, ради которого он и затеял всю эту — да, немислимую — историю. Но не может же он вот также прямо ответить на него. Нет, тут надо исхитриться как-то по-другому...

— Ну, какой я ангел. Я жуткий, может быть, даже развращенный тип. Вы просто еще не знаете меня достаточно хорошо.

Кажется, это получилось удачно: увести ее размышления совершенно в другую сторону, выиграть время для обдумывания собственного следующего хода.

— Гм... А знаете, давайте-ка выпьем еще вина! Что я заметила за собой — после двух-трех глотков становлюсь почему-то пронизательнее.

Она на секунду замолчала (ему ли не знать, что это — пауза, предвещающая нечто значительное), потом своим фирменным неторопливым голосом произнесла:

— Возможно, после них я разделю с вами вашу точку зрения. А может, я с ней не соглашусь. Вы назвали себя развращенным типом. Вы... не обидитесь, если я спрошу: в чем же она заключается, ваша развращенность?

— Не только не обижусь, но с радостью вам исповедуюсь. Вот я смотрю на вас и думаю: почему мы не ровесники? Если бы мы были людьми одного возраста, я непременно влюбился бы в вас! Нет, не так. Я вас и сейчас люблю. Но вы настолько порядочная и возвышенная натура, что мне совершенно не на что...

Он говорил, а внутри него все замирало от страха: чего он мелет? Разве можно женщине — про возраст? Разве можно так скоро — про любовь? Она же умна, она тут же просечет — уже просекла! — его неискренность и тайные намерения. Бежать... извиниться за все и бежать отсюда скорее и как можно дальше...

— И все-то? И в этом вся ваша вина? Тогда я должна сказать вам вот что: никакой вы не развращенный тип. Вы просто... волшебник.

Он смотрел на нее и лихорадочно соображал. Выходит, бежать не надо? Тогда... что же надо? Для начала, наверное, следует прояснить, что она хотела этим сказать...

— Волшебник? Вот странно. В чем же заключается мое волшебство?

— В том, что я сегодня чувствую себя королевой!

Вот этого ожидать было никак нельзя... Он сидел, буквально приросши к спинке стула, и опять напряженно соображал: эти ее слова — что они означают? Они на самом деле дают какую-то надежду, или она просто-напросто проверяет его, насколько он занесется в своей... развращенности? Вот уж не думал, что все будет настолько сложно... Самое неприятное — он действительно не знает, что теперь говорить, что делать. Он сдается. И, может быть, это самое правильное: в конце концов, королева — она, вот и пусть решает участь своего подданного...

— Знаете, что, давайте-ка еще по глоточку.

— Да, конечно. Я совсем забыл о своих обязанностях.

Вино было легким и приятным, как утренний ветерок. Она продолжила так:

— Женщине редко выпадают такие минуты.

Он поставил бокал на стол.

— Редко? Да вы не выходите из образа королевы ни на секунду!

— Вот именно — образа. Но образ и реальная жизнь — это, согласитесь, несколько разные вещи.

Лучезарная улыбка на миг покинула ее лицо, и он отчетливо увидел, насколько она все-таки уже немолода, насколько... Но, Боже мой! — это не имело ровно никакого значения — вот в чем правда! В том, что королева прекрасна и в радости, и в печали. Но почему она вдруг загрустила? Может быть, вспомнила докоролевские времена, о которых всем и каждому известно из газетных и журнальных публикаций? Вот она — не только не королева, но даже и не принцесса. Она — обыкновенная девчонка из спального района Москвы, закончившая школу и пытающаяся найти ответ на трудный вопрос: а что дальше? К маме на фабрику? К папе на завод? Но они мечтают видеть свою единственную дочь студенткой вуза. И совсем не того, о котором втайне мечтает она сама. Да, втайне, вслух об этом она никогда не говорила. Впрочем, нет — однажды все-таки отважилась что-то пролепетать на эту тему маме, и та посмотрела на нее удивленно: дочь, артистка должна быть красавицей, а ты... прости уж за прямоту... Увидев, как огорчилась дочь, бросилась ее обнимать: да мы тебя и такую любим! Ты для нас и такая — лучше всех!

Но слово было сказано, и оно ранило ее сильнее, чем думала о том мама. Ранило, но одновременно произвело еще одно, неожиданное даже для нее самой, действие: с отвагой отчаяния в этот миг она решила про себя, что — пойдет именно в театральный! Просто непременно! Во ВГИК, «Щепку» — где там еще учат на артисток?!

— Но... я королева только в своем королевстве. Сцена, дом...

Голос ее все еще был печальным.

— А разве этого мало? — искренне удивился он.

— Мир так несовершенен. Хочется сделать его лучше.

— И вам это удается! — с той же искренностью ответил он.

— Вы так думаете?

Она опять задумалась и молчала долго, а он не спешил ей ответить. Зачем, если и он, и она знают, что это на самом деле так. Он, кажется, уже забыл, ради чего пригласил ее в ресторан, и рад был тому, что их беседа пошла по какому-то другому руслу. И вдруг...

— Но вы ведь пригласили меня сюда, чтобы о чем-то попросить?

Вот она, минута, которой он все-таки ждал. Почему же он не радуется ей? Более того, он чувствует, как его лицо заливают густая краска сты-

да. Может быть, виновата в этом все-таки сама королева? Разве можно вот так — в лоб? А... что она там говорит еще, дальше? Не изменяет ли ему слух?

— И вы знаете, я не нахожу в этом ничего особенного. Я хочу сказать — стыдного. Скажу больше: если бы в свое время я не попала на глаза режиссеру, который потом стал моим мужем, из меня, скорее всего, ничего бы и не получилось. В юности я была обыкновенной болотной лягушкой — ни кожи ни рожи. Одна пламенная страсть внутри — стать актрисой. А он... взялся превратить эту лягушку в царевну. Это была, скажем прямо, нелегкая задача. Но он, кажется, с ней справился. Как вы находите?

Сказать, что он сидел потрясенный, — значит, ничего не сказать. В голове пронеслось: не побоялась назвать себя дурнушкой... Не отрицает, что если бы не супруг-режиссер... Он, между прочим, собирался этим ее уязвить — когда готовился к встрече, когда предполагал, что встреча может повернуться так, что ему придется защищаться. А она вот так — просто и прямо, не опасаясь уронить себя в его глазах и не желая возвыситься. Можно сказать — истинно по-королевски... Тогда, может, стоит поверить в ее искренность и даже... воспользоваться ею? Ему пришла в голову фраза, которую он заготовил заранее:

— Откровенность за откровенность... Я читал недавно одну книгу... Не скажу, что я человек религиозный, вовсе нет, но одна фраза меня потрясла. Мне кажется, она имеет отношение к вам и вашему супругу. Так вот, автор книги, священник, утверждает, основываясь, разумеется, на религиозных догматах, что брак — это союз мужчины и женщины, в котором муж должен заботиться о своей жене, как Христос заботился о своей Церкви. То есть всего себя предавать за нее.

Она сидела, задумавшись. Потом тихо произнесла:

— Я хотела бы для него того же самого. Со своей стороны. Не знаю — сумела ли?

Она опять спрашивала и смотрела на него своими бездонными глазами с такой надеждой, такой мольбой: ну, скажи же, скажи, что сумела! Она — великая — ждала слов поддержки от сопляка? А кто еще он в сравнении с ней?..

Но если великие тоже нуждаются в поддержке...

— Сердцеобмен. Это не мое слово, его придумала одна хорошая поэтесса, но здесь именно оно все объясняет: между вами и вашим супругом произошел сердцеобмен. Вы не пожалели сердца для него, он — для вас. И все получилось: и в вашей личной жизни, и в профессии.

Она смотрела на него восторженными глазами:

— Вы такой умный! Спасибо вам, спасибо...

Кажется, у нее даже глаза повлажнели. Ну, это уж слишком. Он, право, уже вконец запутался и не знает, как справляться с таким сложным и неожиданным поворотом ситуации. Да, как ему выруливать из всего этого? Ничего, ничего ему для себя уже не надо — кроме того, что он уже получил. Между ними, кажется, тоже произошел своеобразный сердцеобмен, но не тот, на который он рассчитывал, а другой, более важный и значительный. Королева преподала ему урок, который можно выразить простыми словами: вот моя жизнь — как на ладони. А что на своей ладошке протягиваешь ты?..

Отвечать на этот вопрос ему придется всю оставшуюся жизнь.

ЛИЛЯ-ЛИЛЕЧКА

...И что же мы с тобой будем делать, Лилечка?

Как дальше жить?

Сначала-то, кажется, все было понятно и просто. Встретили друг друга. Полюбили. В нашем-то молодом возрасте это самое естественное дело: встретить и полюбить. Им, пожалуй, даже еще и повезло: иные парни и девчата сколько мыкаются, пока свою вторую половинку найдут. А они — сразу: встретились глазами на дискотеке, и обоих одновременно ударило: ты — мой... ты — моя... И времени на раздумье не тратили: через неделю он вернулся от родственников в свой город и объявил родителям, что женится на девчонке, которую встретил на дискотеке в железнодорожном поселке. Зовут — Лилия, профессия — швея (засмеялся: «У нее и руки поэтому шелковые!»), а главное — замечательная девчонка-то: добрая, симпатичная, ласковая... «Что и ласковая, уже узнал?» — насторожилась мама. «Да нет, мам, ты не подумай... Давайте лучше прикинем время свадьбы». Прикинули сразу все: у сына профессия тоже хорошая — механик, на местный ремонтно-механический завод взяли без проблем (еще бы не взять — отец здесь четыре десятка лет отпахал, и все эти годы его портрет так и красовался на Доске Почета; ну, а яблоки, как известно, недалеко от яблони падают...). Словом, работой сынок обеспечен, зарплату, и неплохую, в семью носить будет. Дом у них, конечно, не сказать чтобы большой, но если жить дружно...

— Нет, мам, жить мы решили отдельно. Самостоятельно.

— Да уж, когда вы решили, если знакомы без году неделя...

— Да вот так и решили.

Ну, не мог же он признаться, что на этом настояла Лилия. Тогда он не знал еще — почему. Да если бы и знал — разве стал бы перечить?..

А мама продолжала спрашивать:

— У нее-то там кто остается, в железнодорожном поселке?

— Тоже мама. Отец давно умер.

— Тем более. Успеете еще, нахлебаетесь. Живите с нами.

— Нет, мам...

Сыграли свадьбу. Лилечка переехала к мужу (да, теперь уже мужу!) в город. Сначала жили на съемной квартире, потом решились на ипотеку.

В положенный срок родилась дочка — Лилечкина копия, но и от Паши частичка была: Веруня улыбалась, как папка, — широко, открыто, тараща любопытные Лилечкины глазенки. Он иногда даже боялся: не слишком ли хорошо все у них складывается? Чтобы вот так — без долгих раздумий, но, кажется, навсегда?

Хотя, если совсем честно, однажды он в этом засомневался. Пришел как-то с работы пораньше, прошел в комнату и увидел, что его любимая Лилечка сидит за столом и что-то сточит в тетрадку. У него сразу мелькнула ревнивая мысль: письмо пишет. Кому?! Маме? Но они часто и подолгу говорят по телефону. Опять же — увидев его, Лилечка густо покраснела, метнулась к кровати и спрятала то, что написала, под подушку. Он остановился в шоке:

— Лиль, ты чего? Что прячешь-то?

Лилечка бросилась ему на шею, обвила своими шелковыми ручками, закрыла его рот ладошкой: «Так, ерунда... Не бери в голову...» В голову он и не взял — взял в руки ее (разве можно было удержаться?!), а дальше... дальше все было как всегда: улетели в небо...

И все-таки потом, когда он очнулся (до сих пор отходит от нее, как от сладкого, глубокого сна), все-таки набрался решимости спросить:

— Ты письмо писала, да?

Она посмотрела сначала непонимающе (и он обрадовался: не письмо!), но потом все-таки огорчила:

— Конечно, письмо! Подружке. Мы тут с тобой вместе, а она в поселке одна осталась.

И задумчиво добавила:

— Знаешь, есть такие вещи, о которых болтать не хочется. О которых можно только молчать. Или писать.

Он поверил...

...Я не знаю, как тебе об этом сказать. Вообще-то удачно, здорово получилось: ты сказал про письмо, и я воспользовалась этой подсказкой. И тогда это, как говорится, сошло мне с рук. Тогда — сошло. А как будет дальше?..

Вот уж не думала, что буду что-то скрывать от тебя. А придется! Разве можно признаться в том, что она... сумасшедшая? А что — разве не так? Разве можно считать себя нормальным человеком, когда...

Она всегда жила с чувством, что обнимает весь земной шар — все его континенты, моря-океаны, большие и малые реки и даже речушки, такие, как их Алатырка. И не просто обнимает — любит! — каждую капельку, каждую травинку на лугу или песчинку в пустыне, каждую живую тварь, бегающую или ползающую по земле. Не говоря уже про людей. Особенно — про людей, в которых так много всего намешано: высокого и низкого, доброго и злого... Как это может быть? Как можно чувствовать вот так: чтобы сплошное приятие всего и сплошная любовь ко всему на свете? А Бог ее знает...

Да, если кто и знает, так только, наверное, Бог. А она... Она может всего лишь чувствовать да сомневаться. Потому что приходят ведь и такие мысли: если она способна обнимать всю землю, весь земной шар — то как тогда уместается в своем небольшом теле, на этом вот небольшом стуле, рядом с машинкой Зингер, доставшейся ей от мамы, а маме от своей мамы, ее бабушки Моти, а та привезла ее с войны, а на войне... Нет, хватит растекается мыслью по древу (как любила выражаться Анна Петровна, преподавательница литературы в техникуме — вот, даже литературу преподават сейчас будущим швеям!) — надо сосредоточиться на этом вот пододеяльнике, не то такого нашьешь...

— Лиль, борщ-то давно кипит?

— Борщ?..

Да, борщ... Она поставила его на плиту и благополучно про него забыла...

— Мам, как ты вовремя пришла! Доваришь? У меня срочный заказ.

Мама у них живет на даче. Пашины родители в земле возиться не любят, а мама возилась всю жизнь. И очень это занятие любила.

Они забрали ее к себе потому, что та часто болела, но в городской квартире жить не стала, а сразу попросилась на дачу, утверждая, что работа на грядках ей будет только на пользу. На зиму она уедет к себе в поселок, а лето — лето с удовольствием проведет у них. Она предлагала и внучку на даче поселить, но они с Пашей решили: пусть ходит в садик. Пусть привыкает жить в коллективе. На август, когда все в огороде поспевает, — да, заберут, а пока... пусть маме будет легче.

Хотя — где уж там легче. Пришла вот навестить дочку, а дочка — вари борщ, мама.

Лиля строчила и строчила на машинке, чувствуя свою вину. Ведь говорила, говорила ей та же мама: ты не знаешь, Лилечка, что такое семейная жизнь. Это вечно готовь, стирай, мой. А уж когда пойдут дети...

— Ну и что? — беззаботно спрашивала она.

— Забот будет еще больше!

— Ну и что? — недоумевала она. — Справляются же мои подруги.

Мама помолчала. Потом:

— Лиля, но ведь у тебя талант!

Тут она уже рассмеялась:

— Талант! Почему же я об этом ничего не знаю?

Слукавила, конечно. Разве ей забыть, как принесла в районную газету свою первую заметку (по совету все той же любимой преподавательницы Анны Петровны) и женщина, взявшая ее листочки в руки и начавшая их читать, через некоторое время грациозно отвела в сторону руку с сигаретой (артистка, прямо артистка! — восхитилась Лиля) и задумчиво произнесла:

— Гм, гм... А у вас, милочка, явные литературные способности.

Женщина была немолода и дымилась как паровоз — от одной сигареты прикуривала другую; рукава кофты-самовязки были подвернуты у нее небрежно (да, вот так она себе их и представляла, людей творчества: им не до мелочей, не до презренного быта).

— Знаете что, оставьте свой телефон. Думаю, я позвоню вам в самое ближайшее время.

Она и позвонила вскоре, и ошеломила известием: ваша корреспонденция будет опубликована в праздничном номере газеты. У нее хватило наглости удивиться: «Корреспонденция? А разве это не рассказ?»

— Ну, какой же это рассказ, — раздумчиво возразила собеседница. — У вас тут ни выдумки, ни сюжета. Просто воспоминания. Но вы их изложили так выразительно...

Собеседница замолчала на минуту, и Лиля поняла: закуривает новую сигарету; затем продолжила:

— Не случайно ведь я вам и сказала, что у вас явные литературные способности. Вот и развивайте их, совершенствуйте. Для начала побольше читайте.

Огорченная поначалу, Лиля воспрянула духом: всего-то и надо — побольше читать! Так это она и без всяких советов всегда любила делать. И времени на чтение не жалела. Сдается ей, правда, что одного чтения для того, что она замыслила, маловато, что тут требуется что-то еще, но... Но не все же сразу, когда-нибудь она поймет — что именно. Могла бы, конечно, подсказать и сотрудница редакции, но почему-то не подсказала. И она, Лиля, тогда одернула себя: все-то ей подкажи... Хочешь писать — работай собственными мозгами.

В общем, из газеты она ушла не расстроенная, а как бы подобрававшаяся сама в себе, изговотившаяся к чему-то значительному.

...А вскоре ей пришла и подсказка. Откуда? Да из книги же! Читая Драйзера, выхватила фразу: поэзия — это воспоминание о прошлом. Она сначала поразмышляла, а потом позволила себе продолжить классика: поэзия — да, но и проза — тоже. Воспоминание. О прошлом. И вот это — очень утешительная для нее мысль. Ей пока нечего вспоминать — вот в чем дело. Она еще слишком недолго пребывала на этом свете, мало знала и видела. Значит, ей надо просто жить и копить воспоминания — богатство, которое обретается только с возрастом. Так что — не надо печалиться!..

Он тогда поверил жене, но... как-то ненадолго. И не совсем. И решил за ней понаблюдать. Сделать это не так-то просто, если у тебя то дневная, то ночная смена, после которой он спит как убитый, но... должно же, в конце концов, все как-то проясниться! Почему она не захотела жить вместе с его родителями? От него ли одного она хранит какую-то тайну? И что это за тайна такая, в которой нельзя признаться мужу?!

Однажды ночью он проснулся и увидел опять ту же картину: сидит его Лилечка на краешке кровати и при свете ночной лампы строчит что-то в свою тетрадку. Свет лампы в жизнь бы его не разбудил, но когда тебя постоянно точит подозрение... Опять письмо? Опять подруге? Но о чем?! Я ее обижаю? Нет. Ей скучно? Да когда ей скучать, если она целый день строчит, только не в тетрадку, а на своем «Зингере», потому что поскорее тоже хочет выплатить ипотеку...

Смотрел он долго, и она, казалось (или вправду?), ничегошеньки не замечала. А когда вдруг повернулась к нему...

Повернулась-то повернулась, но ее... не было! Точнее, она была, как теперь принято говорить, где-то в другом измерении. Другом пространстве. Он даже струхнул сначала. Окликнул тихонько: «Лиль, Лиль, ты чего...» Она будто навела в глазах резкость, горько вздохнула:

— Ой, Паш...

И тогда он рубанул плеча:

— Все, хватит загадок! Давай признавайся. Я готов ко всему. У тебя там кто-то остался? Кто-то более дорогой, чем я?

И она опять кинулась ему на шею... Но на этот раз он нашел в себе силу отвести от себя ее шелковые руки:

— Давай-давай, колись...

Лилечка сидела, опустив голову. Молчала. Потом опять тяжело вздохнула:

— Паш, ты не поверишь...

— Поверю, куда ж мне деваться.

— Понимаешь, у нас с тобой все так быстро случилось... и я не успела тебе сказать...

— Вот и говори теперь.

Лилечка набрала полную грудь воздуха и выдохнула:

— Я, Паш... рассказы хочу писать. А потом повести...

Она, конечно, не надеялась, что Паша поймет все сразу. Но он молчал слишком долго. Так долго, что она уже пожалела о том, что сказала. Тоже мне — выдумали с мамой про какой-то талант... И та — с сигаретой — чего наводила тень на плетень? Отрубила бы сразу: нечего со свиным рылом — да в калашный ряд.

— Лилечка, а что же ты не сказала сразу? — произнес, наконец, супруг.

— А когда было, Паш? — загорелась надеждой она. — Я, правда, успела отвезти рассказы в журнал. Еще до нашего с тобой знакомства...

Да, она отвезла рассказы (именно рассказы — теперь она в этом была уверена!) и передала их из рук в руки сотруднику журнала. На этот раз это был мужчина, а не женщина. Он не стал их тотчас читать, следовательно, ничего не сказал ей о литературных способностях («Мужчины — они сдержаннее женщин», — объяснила она себе), но попросил приписать внизу адрес и номер телефона. И велел ждать. Она и ждала — месяц, другой. А на третий встретила Пашу, и ей стало не до ожидания. Вернее, теперь ее ожидания стали другими: когда Паша позвонит, когда придет,

когда скажет те слова, которых ждут все девушки на свете... А потом она и вовсе решила, что любовь, обрушившаяся на нее неожиданно, как весенний дождь, дороже всяких рассказов. А уж когда родилась дочка...

— Брошу, Паш, брошу! Вот они, тетрадки — все в дачный костер побросаю!

Он опять долго молчал. Так долго, что в ответе, кажется, уже можно было не сомневаться. И все-таки она опять не угадала.

— Нет, Лилечка, так нельзя. Ты поезжай в тот журнал. Добейся ответа. Чего они так долго молчат?

Шелковые руки обвились вокруг его шеи...

И вот она опять в том кабинете, и тот же мужчина сидит за заваленным бумагами (рукописями — знает теперь она) столом.

— Извините, столько всего приходит. Но я прочитал. И, знаете, пожалуй, мы их опубликуем — ваши рассказы.

У нее закружилась голова. И запылали щеки... Сама не помнит, как вырвался у нее вопрос:

— Значит, уже рассказы? Скажите, а книжку... книжку я уже могу издать?

Брови собеседника поползли вверх...

А она-то надеялась! Она, дура, думала втайне (никому — ни матери, ни мужу не говоря): вот издаст она книжку, и у них с Пашей появятся деньги на уплату этой мучающей душу ипотеки! Пусть не все, пусть только часть, но все равно будет легче, и Паша перестанет вздыхать и ходить на эти постоянные подрабтки.

Однако сотрудник журнала (и не просто сотрудник — редактор, как узнала она потом) не оставил ей никакой надежды.

— Вы знаете... Нет, конечно, не знаете, что это такое, поскольку никогда с этим еще не сталкивались...

Редактор отвел глаза в сторону окна и надолго замолчал. Она заметила, какие они у него усталые, эти глаза (она, впрочем, заметила это сразу, только не хотела себе в этом признаваться, поскольку ей очень хотелось, чтобы сотрудник журнала, тем более редактор, был энергичный, сильный, умеющий добиться осуществления любой цели, например, издания книжки никому не известной молоденькой авторши, принесшей в журнал свои первые рассказы). Теперь она должна была признаться себе, что зря себя обманывала. А услышать ей предстояло следующее:

— Вы знаете, книжки сейчас издаются, конечно, но в основном за счет автора.

— Как... за счет автора? — изумилась она. — Сначала напиши, а потом еще и заплати — сама за себя? За свой собственный труд?

— Да, вот так. Как ни странно.

Редактор смотрел своими усталыми глазами уже не в окно, а прямо на нее, и она видела, что ему ее жаль, вот только помочь — увы...

Что оставалось Лилечке? Убираться восвояси. Кажется, вслед ей неслись какие-то слова, что-то про ее бесспорные литературные способности и еще про каких-то там спонсоров, которых следует поискать, но ей уже ничего не хотелось слышать, ей хотелось одного — скорее остаться одной, чтобы в сплошном, беспросветном одиночестве испить до дна чашу горечи, унижения и обиды.

Неожиданно для самой себя она тогда вдруг рассмеялась: вот они —

литературные способности — под девятнадцатый век уже работает! Испивает не что-нибудь простенькое и привычное, а — «чашу горечи». Не зря, выходит, читает чужие книжки. А что касается своей...

Вечером она объявила дома:

— Чтобы я никогда, никогда не слышала больше ни про какие таланты, повести и рассказы! Ни от кого! Ни от тебя, мама, ни от тебя, Паша. Все, замечано!

Заметывать и сметывать она будет теперь только выкройки. Вот это — ее. Ишь, возомнила что о себе. Поверила сначала Анне Петровне, потом этой даме с сигаретой... И дядечка из журнала — сначала выплеснул на нее ушат ледяной воды, а потом чем-то пытался утешить ее вослед... Все-все, хватит!

Мужа и маму она, пожалуй, в этом убедила. А себя?

Самой-то себе чего врать: душа болит! Еще как болит. Потому что кажется ей, что она предает не только себя, а кого-то еще, кто, наверное, и распределяет между людьми их занятия и обязанности на земле. И выходит, она именно обязана, нет — даже обречена на это неподъемное для ее нынешних сил занятие — заполнять свои тетрадки неровными, корявыми от недосыпа и усталости строчками.

Задание дали, а про обеспечение силами забыли...

Или она и это должна понять сама — где эти силы взять, как ими распорядиться?

Да, где взять, если непонятно даже то, ради чего все это должно делаться? Вот прочитала недавно у кого-то (не вспомнить уж у кого, ведь читает в последнее время урывками и вперемешку), и этот кто-то утверждает, что писать следует для того, чтобы сказать о жизни что-то новое. А разве это возможно? Вспомнить хотя бы Вознесенского (уж какой знаменитый, казалось бы, был поэт), вот эти его всем известные строки:

Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь...

Лилечка захлебнулась, у нее просто дыхание перехватило, когда она услышала эти слова в первый раз: кем, каким надо быть, чтобы сочинить такие простые и такие невозможные по своей безграничной (эмоциональной, духовной) наполненности строки?!

А потом — бац: Анна Петровна подсовывает ей скромный такой, тоненький сборничек стихов. Она принялась читать и натолкнулась вот на это:

Срываю вереск... Осень мертва...
На земле — ты должна понять —
Мы не встретимся больше. Шуршит трава...
Аромат увядания... Осень мертва...
Но встречи я буду ждать.

И это — прошлый век! Точнее даже, конец позапрошлого. И за такую толщу времени до появления поэта Вознесенского, совсем в другой стране, совсем другой поэт написал почти такие же строки! Ну и как после этого можно набраться смелости и попытаться — хотя бы попытаться! — сказать о жизни что-то новое, если все уже сказано и не один — можно не сомневаться — раз! И дело здесь вовсе не в плагиате, дело здесь, как ей

представляется, в том, что человечество (ее любимое, пусть и несовершенное, человечество...) живет и развивается по одним и тем же законам. Да, оно разделено границами, разнится цветом кожи, традициями, привычками, представлениями о мире, в котором живет, но каждый — каждый! — человек проходит один и тот же путь: рождение, расцвет, уход в другой мир. И пока длится эта дорога, этот земной путь, он мучительно старается понять: зачем, почему, для чего? «Мы не встретимся больше...» Но — «Встречи я буду ждать...» Через века перекликаются строки, и через века люди пытаются и пытаются найти ответы: зачем, почему, для чего?

Вот и она — тоже пытается. И поскольку уже не маленькая и не глупенькая, то пора, наконец, решить: а имеет ли она на эту попытку право? Не насвоевольничала ли она, не придумала ли себе этой роли, этой задачи? Может быть, все-таки следует внять совету умного человека и уважаемого ею писателя, сказавшего в одном из интервью: если можешь не писать — не пиши. Хороший же, дельный, добрый, можно сказать, совет.

Лилечка перестала крутить ногами, остановив свой «Зингер», уставилась в окно.

В том-то и дело... В том-то и беда, что она не сможет, не найдет в себе силы забросить свои тетрадки в дачный костер. Хоть и дала слово мужу, маме...

И как дальше жить?

Решение пришло легко и просто, как вздох: она будет писать тайком. Тайком от мамы. Тайком от Паши. Тайком даже от самой себя.

И будь что будет!..

